

«В тревоге есть настоящее...»

Сегодня уже можно со всей очевидностью говорить о "четвертой волне" русской эмиграции. "Четвертая волна" — это множество людей, уехавших из России в постсоветское время. Одни уезжали на легальные основаниях; другие выправляли себе фальшивые бумаги; третьи,бросив личину туриста, переходили на нелегальное положение; четвертые (в основном студенты, стажеры) вступали в брак с аборигенами.

Писатель Юрий МАЛЕЦКИЙ, беседа с которым предлагается вниманию читателей, в советские времена не смог опубликовать на Родине ни одного своего произведения. Две повести (под псевдонимом Лапидус) были в начале 80-х напечатаны в парижском "Континенте".

После падения советской власти писатель достаточно широко публиковался в России: повести "Убежище", "Люблю", множество рассказов. Более того, выйдя на поверхность, творчество Малецкого получило достаточно широкий резонанс: в периодике появились немногочисленные, но серьезные критические статьи; печатали Малецкого, повторим, охотно и даже пригласили заведовать литературным отделом журнала "Новый мир". Наконец, повесть "Люблю" в 1997 году вошла в финальный лист претендентов на ежегодную Букеровскую премию.

Внешне, таким образом, профессиональная карьера писателя, хотя и поздновато (Малецкий принадлежит к поколению литераторов, родившихся в 50-е и зачисленных переделкино-аэропортовскими мэтрами в разряд "вечно молодых"), но пошла на поправку.

Тем не менее в 1996 году Юрий Малецкий принял решение уехать. Теперь он проживает в городе Аугсбург, Германия.

— Что такое эмиграция в контексте вашей личной судьбы?

— Моя личная судьба такова, что я, к несчастью, являюсь литератором, то есть человеком слова. Мало того, что я, как все нормальные люди, стараюсь слово держать, но я еще и вынужден со словом работать. Поэтому я попал в тот переплет, который можно назвать двоением. Двоением того, что принесла людям перестройка.

Есть люди, которые в результате перестройки безусловно проиграли: например, простые рабочие где-нибудь в Тюмени, которые сегодня не получают зарплату и которых не нужны были никакие свободы, а нужен был гарантированный прожиточный минимум.

Есть люди, которые абсолютно выиграли. Это те, кто воплощали себя в тех формах, которые всегда являются более или менее рыночными, более или менее международными. Для художников, музыкантов, певцов, танцовщиков свобода — это не только разрешение на творчество, но еще и открытие границ. При открытых границах они выигрывают, а проигрывают — в биологическом отношении — писатели и в особенности поэты.

Хорошо еще, что я прозаик и мои гонорары выше, чем символические гонорары поэтов. Сегодня в России, чтобы быть поэтом и при этом поддерживать биологическое существование, надо либо стать главным редактором какого-нибудь дорогого журнала, вроде "Золотого века" Володи Салимона, либо, как Коркия, заниматься издательской деятельностью.

— Но ведь и вы одно время пытались служить в "Новом мире".

— Я считаю, что поэт и может, и должен совмещать основное занятие с побочными, потому что писать стихи — как говорил еще Есенин — "не очень сложные дела". То есть за стихи можно платить и кровью, и жизнью, но стихи не требуют всего твоего времени.

А прозаик должен сидеть и работать, и пыхтеть. Если он пыхтит, но не зарабатывает, если семья его живет впроголодь, то прозаик начинает искать не побочные виды заработка, а свободное пастбище, которое им самим еще не выпотано. Лужайку, где он может еще некоторое время попастись.

В общем, пока прозаик пишет, кто-то или что-то должно его содержать. Должно, да не обязано. Когда прозаик попадает в эту ситуацию и ему открывается возможность эмиграции в страну с гарантированным прожиточным минимумом на определенное время, то прозаик, как правило, этой возможностью пользуется. Я, например, воспользовался.

— Влились, так сказать, в "четвертую волну"?

— К сожалению, я не могу себя идентифицировать с типическим представителем "четвертой волны".

— А что такое "типический представитель"?

— Во всех этих "волнах" прослеживается определенное шахматное чередование. Первая волна и третья рифмуются между собой, вторая и четвертая — тоже рифмуются. Все они, естественно, вынужденные, но первая, как и третья, дала нечто культурно значительное и значимое. В первом случае речь идет о людях уровня Бунина, Набокова, Мережковского, Ходасевича, Анны Павловой и т.д.; во втором — Солженицын, Бродский, Барышников, диссиденты (они, может быть, личности не такого калибра, но весьма достойные).

А кто составил вторую волну? Это, по существу, перемещенные лица, которые просто поняли, что назад идти — смерть. Или, будучи угнанными в Германию, обнаружили, что получили больше, чем имели у себя на колхозных полях. Как только они поняли, что хозяйка относится к ним, как к животным, но она заботится и о своих животных — дает им, по ее мнению, жалкий уровень чистоты, вежливости и всего прочего, чего они отродясь не видали в родном отечестве, — они решили зацепиться как угодно, но не попасть в поезд, идущий в Советский Союз.

"Четвертая волна" — это, увы, люди, не имеющие никаких амбиций. Это чисто экономическая эмиграция. В основном это люди с Украины, из Молдавии, Киргизии, Казахстана. Собственно из России — не более 20%. Из этих 20% — процентов 5 из Москвы и Петербурга, остальные из провинции.

Это люди, которые поняли, что если у человека есть руки и голова на плечах, то он здесь будет грузчиком, шофером или строителем, будет иметь как минимум три тысячи марок ежемесечно, будет кормить семью, купит где-нибудь домик, будет отыхаться в Испании или в Италии и все такое прочее.

— Человеку открывается путь к достатку, о котором он долго и безуспешно мечтал на Родине?

— Да, но только в том случае, если он не обременен большими творческими или какими-либо другими амбициями.

— То есть не все достигают цели?

— В борьбе за достаток преуспевает сильнейший в физическом и психологическом отношении. Психологическая сила должна вы-

ражаться в абсолютном спокойствии, в отсутствии каких-либо претензий, в умении принимать данность и быть сю довольным.

У человека, который живет в казахстанской степи, в домах барачного типа, то, что он видит в Германии, безусловно, не вызывает никакого неприятия. Если я из московской квартиры попадаю в общежитие с коридорной системой, населенное людьми из Харькова и Мелитополя, Жмеринки и Кишинева, то в первое время мой жизненный тонус понижается.

Мне больше не с кем разговаривать об Антонии Блуме или Хайдеггером, о Чехове или Толстом, даже о Пушкине или Достоевском. Люди, с которыми я теперь живу, не отличат Феллинни от Антониони, скорее всего они не слышали этих фамилий.

Речь идет о людях, очень часто вполне приличных. Плохого в Германии они не замечают, а хорошее там, безусловно, есть: это все-таки немецкое общежитие, и супермаркеты кругом. А цены на продукты вдвое, а иногда втрое ниже, чем в Москве. А цены на пиво вчетверо ниже, а пиво это, может быть, втрое лучше... И мои новые соседи довольны.

— Для большинства коридорное общежитие есть повышение жизненного стандарта?

— Конечно. В Германии сейчас существуют два потока, скажем так, русскоязычной эмиграции.

Это, во-первых, украинские или польские немцы-колонисты, которых Сталин высыпал в Казахстан и Сибирь. Те, кто выжили (а выжили в основном казахстанские немцы; в Сибири смертность, видно, была еще выше), это, как здесь говорят, "казах-дойче". Их число приближается к 3 миллионам на 80 миллионов "настоящих немцев".

Во-вторых, это так называемые "контингентные" переселенцы — еврейская эмиграция из РФ, начавшаяся в 1991 году, согласно принятому Бундестагом закону. Этот поток значительно меньше; он, говорят, еще не достиг 100 тысяч.

— В этот "контингент" входит не только еврейская эмиграция?

— В него входят евреи, их русские и украинские жены или мужья, их дети-полукровки, их родня и многие, многие другие.

Немцы, что само по себе достойно удивления, не просчитали точно ситуацию ни с казахами, ни с евреями. Выяснилось, что люди по фамилии Дорф или Берг — стопроцентные жители Караганды и практически нольпроцентные немцы. Это абсолютно советские люди, которые заматерили всю Германию. (Матерятся они все, начиная с грудного возраста, и учат этому немецких школьников во всех немецких школах). Немецкие дети смысла не понимают, но чувствуют, что некая энергетика в этих словах есть и ругаться этими словами — хорошо.

— Что, по вашему мнению, происходит с новыми эмигрантами на психологическом уровне, на уровне душевного состояния?

— По моим наблюдениям, происходит следующее.

Сначала человек просто радуется тому, что его кормят так, как на родной Украине не кормили. Через несколько месяцев он начинает отдавать себе отчет, что здесь он — никто, его нет, он не нужен. Немцы с ним не общаются хотя бы потому, что он не знает языка. На Украине он был уважаемым человеком: главным инженером, хирургом, завмагом. У него, может быть, не было денег, но там, в родном городе, его уважали. Он хочет восстановить это уважение и здесь, на чужбине, выда-



Юрий Малецкий.

ском "среднем классе", о тех, кто в 70-х читал Маканина, Битова, слушал тайком "Голос Америки". Что с такими людьми происходит на новом месте?

Наиболее терпеливые, энергичные, дисциплинированные люди (то есть типичные представители еврейского менталитета, а иногда и их русские жены и мужья) начинают "упираться рогом". Они начинают искать любую возможность немецкого подтверждения своего диплома, стажировки по специальности; рассыпают в университеты свои послужные списки, занимаются саморекламой: возьмите меня! Они ищут фонды для дальнейшего образования, для поддержания квалификации, чтобы чувствовать себя пока еще действующими физиками, инженерами, врачами и т.д. Таких людей, я бы сказал, меньшинство.

Второй вариант: люди понимают, что им не сduжит: они больше не будут никакими врачами и инженерами. Тогда они ищут переобучение: идут на биржу труда и подают заявление на то, чтобы им нашли переобучение. Можно выучиться на мусорщика, медсестру, кондитера, частного детектива, наконец.

Третий вариант. Люди плюют на все и занимаются каким-то черным бизнесом — пытаются найти советские варианты существования, превратить хаос в космос доступными им средствами.

Вообще, советская психология при переезде расцветает пышным цветом. Первое время тебе все дают. И ты вдруг начинаешь чувствовать, что это норма: тебе должны давать.

— В СССР плохо давали, а здесь дают хорошо?

— Конечно. Нам надо давать за нашу тяжелую советскую судьбу, еврейскую судьбу. Они же убивали нас, а теперь пускай дают (хотя убивали-то тех, кого уже нет, но пусть нам дают за них). И тут в этой области начинается своя борьба за существование: кто больше возьмет.

В этой борьбе участвует масса людей — и не могу сказать, что я совсем не принадлежу к их числу. Я себя успокаиваю: у меня другая ситуация, потому что я сижу и пишу, а значит, имею право на некий грант, на минимальную, поддерживающую меня и мою семью сумму. Этот грант мне не дают. Те люди, которые без конца выдвигают меня на Букера, до сих пор не удосужились дать мне простой социальный минимум, значит, пусть другие дают... Одним словом, обидеть художника может всякий, нет чтобы помочь материально... Но я, конечно, не думаю так, как люди из Харькова: взять все что можно, а чего нельзя, тоже попробовать взять.

— Вот мы и вернулись к вашей личной судьбе. Можно ли сказать, что есть категория людей, которые психологически относятся к экономической эмиграции (я думаю, это к Вам относится, как и ко многим другим), но вместе с тем в целом не вписываются в стандарт типового эмигранта?

— В первую очередь это литераторы. Все остальные люди — художники, музыканты — могут заколачивать деньги руками. Все, кто говорит на интернациональном языке живописи или музыки, рано или поздно устраиваются. Конечно, не у всех судьбы складываются, как у Кабакова, допустим, Комара и Меламида, Спивакова и у прочих.

У литератора другое. Он работает на национальном языке.

Но у меня был свой интерес при отъезде. Я понял, что моя жизнь в России становится линейной, бесфабульной, что еще какое-то время я буду в литературном кругу что-то слушать, что-то говорить, что-то слушать, что-то попивать, иногда что-то пи-

сать, но практически я о себе уже все узнал, и если я куда-то за угол не сверну, на новый поворот...

Литературная деятельность для меня — это некий душевно-духовный опыт самопознания, который я пытаюсь воплотить художественно, через литературный инструментарий (сюжет, язык, характер или еще что-то).

Я понял, что в России другого опыта не будет, а там, может быть, будет. Опыт боли, излома, но на этом изломе я что-то новое о себе, может быть, пойму.

— И что вы уже успели понять?

— Не знаю, понял ли я уже что-нибудь новое о себе за год жизни в Аугсбурге. Но я понял какие-то вещи, о положении русской литературы в контексте другого языка. У меня есть на этот счет определенные скорее чувства, нежели мысли. Почему, скажем, среди писателей одного уровня кто-то востребован, а кто-то — нет? Почему русский язык, когда его используют для чисто языковых литературных экспериментов, перестает здесь, вдали восприниматься как нечто гениальное. А русский язык, кото-

рый простыми словами описывает достаточно сложные вещи, действительные вещи из области человеческих переживаний, человеческих действий, продолжает восприниматься абсолютно адекватно.

Я вдруг понял, что реальный смысл — и отнюдь не только в коммерческом отношении — заключается в том, чтобы “найти читателя” (о чем еще Умберто Эко говорил). Грубо говоря, сейчас по-настоящему будет элитарен не Джойс, а человек, который думает о читателе и который смог стать настолько глупее самого себя, чтобы опуститься до уровня простого читателя, и настолько умнее читателя, чтобы обмануть его и впутать в очень сложное повествование об очень сложных вещах. Так сделать, что читатель все это съест и будет думать о том, какую занимательную книгу он прочел. А тебе еще гонорар за это заплатят.

— На гонорар вы все-таки рассчитываете?

— Мой отъезд — это экзистенциальная авантюра, некое приключение духа, которое я себе позволил. Я не знаю, насколько я

имел право на это, насколько это был ответственный шаг, потому что ведь я втянул в это жену и ребенка, которому уже десять лет и которого мне надо ухитриться потянуть еще лет 10-12, пока он учился бы в гимназии, потом в университете и т.д. Но как я сам должен прожить там эти 10-12 лет — не очень представляю себе. Что моя жена там должна делать — совершенно не представляю себе, и она этого не представляет.

Таким образом, это полная авантюра. И в то же время у меня нет ощущения неправильности этого житейского хода. Во-первых, я не заклинал духа; я просто оказался в такой ситуации, когда понял, что мне остается сделать только это и ничего другого я себе позволить не могу. Поэтому я решил, что это вполне уместно в глазах Господа Бога — мне самому распорядиться собственной судьбой.

Я вообще думаю, что о моем случае можно говорить как о сугубо индивидуальном решении внутри типической ситуации экономической эмиграции (мне в последние месяцы в России букваль-

но не на что было жить). И в этом решении я вижу промысл. Я не знаю, почему это так. Но я чувствую, что сегодня, сейчас, в наше время вообще все типические варианты, все разговоры о том, как НАМ обустроить Россию, как НАМ что-то сделать, должны уступить место тому, как МНЕ выйти из положения. И в этом “как МНЕ” нет ничего зазорного для человека если не сугубо православной жизни, то, по крайней мере, православного мировоззрения, мироощущения, православной ментальности.

— Как вы полагаете, в ближайшие годы вы будете что-то писать по-русски или нет?

— Я думаю, что обречен это делать... Если не стану работающим человеком. Работать по-немецки — это значит не заниматься никакими личными творческими проектами. Сейчас я думаю: как же Кафка делал все это? Он был страховым агентом, работал в суде. Работать в Австро-Венгерской империи и еще сочетать это с творчеством — просто невероятно. Очень слабый в физическом и первом отношении человек,

Кафка оказался в чем-то главном, основном — очень сильным.

— Вам такой подвиг не по плечу?

— Не знаю. Я одно могу сказать: всю жизнь я стремился перестать жить прошлым, которого уже нет; избавиться от страха перед будущим, которого еще нет; и начать жить настоящим, которое есть. В сущности, это предел стремлений всякого человека, тяготящегося к какому-то мистическому началу, потому что вечность — это и есть настоящее. И я впервые оказался в таком положении, когда я вынужден жить только настоящим, не зная, что меня ждет в будущем и не очень думая о прошлом, потому что тогда ностальгия начинает человека мучить. Я вынужден поддерживать в себе ощущение настоящего и в этом вижу самую продуктивную сторону своего отъезда. В тревожном состоянии живется тяжело, но в нем есть настоящее.

Вопросы:
АЛЕКСАНДР КЫРЛЕЖЕВ

Москва